

УДК 821.161.1

РУССКАЯ ИМПЕРСКАЯ САТИРА: КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЭТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Роготнев Илья Юрьевич

к. филол. н., доцент кафедры русской литературы

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15; rogotnev05@mail.ru

В статье анализируются функции сатирической литературы на примере произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина; основное внимание уделяется анализу книги «Господа ташкентцы». Предпринятое описание сатирического дискурса опирается на методологию анализа аппаратов власти, предложенную в работах Мишеля Фуко. Эпоха становления режима дисциплинарной власти характеризуется приданием сатирическому дискурсу нормирующей миссии. Обращаясь к теме колонизации Средней Азии, русский писатель и чиновник находит в качестве объекта сатирической колонизации не традиционное общество Востока, а самих просветителей/колонизаторов. В системе салтыковской поэтики русская «цивилизованность», «культурность» является реликтом власти-господства, подлежащей дисциплинарным трансформациям. Обращаясь к критике российского империализма, сатирик остается имперским бюрократом, реализующим через литературную сатиру миссию Петра Великого, заключающуюся в модернизации элит.

Ключевые слова: сатира; власть; империя; цивилизация; карнавализация.

Поле сатирической поэтики кажется более или менее единым в течение почти всего «Петербургского периода» истории русской культуры: из десятилетия в десятилетие сатира Нового времени борется с одними и теми же пороками (корыстолюбием, жестокостью, лицемерием, различными формами невожатности, глупостью и пошлостью) и прославляет примерно одни и те же добродетели. Другими словами, в русской сатирической литературе от А.Д. Кантемира до М.Е. Салтыкова-Щедрина обнаруживается особая поэтика, единство которой мы объясняем в координатах социально-политической истории, а конкретно – истории власти как режима правления и подчинения.

Взятая нами на вооружение концепция была изложена в работах Мишеля Фуко, посвященных анализу становления и трансформаций систем знания, дискурсов, функции субъекта и властных отношений. Теория власти М. Фуко впервые развернуто изложена в курсе лекций «Психиатрическая власть», прочитанных в Коллеж де Франс в 1973–1974 учебном году, свое развитие она получает в последующих лекционных курсах мыслителя и монографиях «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» (1975 г.) и «История сексуальности» (первый том, в котором эксплицирована методология анализа власти, выходит в 1976 году).

Охарактеризуем некоторые аспекты этой концепции. «Гипотеза, которую я хотел бы выдвигать, заключается в том, что в нашем обществе существует дисциплинарная власть. Под этим термином я имею в виду не более чем конечную, капиллярную форму власти, последний передатчик власти, некую модальность, посредством которой политическая власть, власть вообще могут на самом нижнем уровне коснуться тел, прикинуть к ним, взять под контроль жесты, поступки, привычки, слова, – то есть тот способ, каким все эти власти, склоняясь вниз и приближаясь к индивидуальным телам вплотную, берут в оборот, преобразуют, направляют...» [Фуко 2007: 57].

М. Фуко излагает причины распространения дисциплинарных диспозитивов в терминах классической политэкономии. «Накопление людей» требует их рационального распределения, дисциплинарный режим позволяет решить три задачи, адекватные логике буржуазной рациональности: 1) как «привести всех к трудоспособности»; 2) «как распределить индивидов так, чтобы вместе они делали больше, чем просто соседствуя друг с другом» 3) как рационально присваивать и распределять временной ресурс [там же: 91].

Дисциплинарная власть приходит на смену господству как ведущей форме властных отношений добуржуазной эпохи. Согласно М. Фуко, основанием этих систем выступают противоположные модели индивидуации — восходящая и нисходящая: «В некоторых обществах (феодальный строй лишь одно из них) индивидуализация

развита наиболее там, где отправляется власть государя, и в высших эшелонах власти. Чем больше у человека власти или привилегий, тем больше он выделяется как индивид в ритуалах, дискурсах и пластических представлениях. «Имя» и генеалогия, помещающие индивида в толщу родственных связей, деяния, которые показывают превосходство в силе и увековечиваются в литературных повествованиях, церемонии, самим своим устройством демонстрирующие отношения власти, памятники или дары, обеспечивающие жизнь после смерти, пышность и чрезмерность расходов, множественные пересекающиеся верноподданнические и сюзеренные связи — все это процедуры «восходящей» индивидуализации. В дисциплинарном режиме, напротив, индивидуализация является «нисходящей»...» [Фуко 2016: 235].

Критика литературы как аппарата власти (под влиянием М. Фуко) проводится в исследовании Д.А. Миллера, который доказывает, что классический реалистический роман берет на себя функцию надзора, плотного наблюдения за приватной жизнью европейцев XIX столетия [Miller 1988]. Дисциплинарную функцию романного дискурса рассматривает И. Клигер на примере «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова [Клигер 2020]. Дисциплинарный характер сатирической литературы представляется очевидным, однако специальные работы по этой проблеме нам не известны. Представляется необходимым обратить особое внимание на идею историчности дисциплинарной власти, прихода ее на смену другому типу властных отношений, который М. Фуко называет господством.

Согласно нашей гипотезе, утверждение дисциплинарных систем, которое М. Фуко называет колонизацией (колонизацией молодежи, инкультурных народов, социальных маргиналов [Фуко 2007: 85–90]), сопровождается формированием особого типа сатиры – **просветительской**, доминировавшей в английской и французской литературе на протяжении XVII–XVIII вв., в русской литературе – почти до конца XIX в.

«За сто лет до Фуко губернский чиновник и сатирик Михаил Салтыков-Щедрин опубликовал серию очерков «Господа ташкентцы», в которых выявлял те же процессы <...> в российской действительности своего времени. Ташкент, ныне столица Узбекистана, после его взятия российскими войсками в 1865 году стал центром огромной среднеазиатской колонии. Щедрин выбрал этот величайший успех российского империализма для того, чтобы показать его обратное действие на политику и нравы внутренней России. <...> Прослеживая дугу имперского бумеранга на его обратном пути из колонии в метро-

полию, Салтыков-Щедрин определяет внутренний Восток – на его языке, «ташкентство», – как сочетание насилия и невежества, укоренившееся в отношениях между российскими центрами и колониями» [Эткинд 2013: 41].

Действительно, тематика цикла о «ташкентстве» захватывает механизмы власти, которые А. Эткинд называет «внутренней колонизацией». Мы, однако, покажем, что позиция автора и прагматическая функция книги представляют собой весьма замысловатую конфигурацию социально-политических оценок внутренней и внешней колонизации. Исследователи, обращавшиеся к анализу книги, подчеркивали ее сфокусированность на специфически российских политических реалиях, на фигуре колонизатора, которая полностью затмевает в книге тему колонизируемой земли [Кирпотин 1939: 117–120; Николаев 1988: 130–139; Ольминский 1937: 631–632; Шафранская 2010: 24–40]. «Господа ташкентцы» занимают важное место в развертывании щедринской феноменологии власти, предьявляя образ агрессивного хищника, служащего в колониальных администрациях и силовых ведомствах (по сути, это тип силовика-выгодоприобретателя).

Цикл открывается двумя эссе, в которых автор задает основные темы книги. В публицистической форме сатирик характеризует российскую историю и современность: «Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказания Петра Великого: быть всем россиянам европейцами, – так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох... И выходит, что мы тоже пахнем, только пахнем нежилым местом» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 14). Образ пустого, нежилого пространства однозначно связывается здесь с петербургским периодом русской истории. Хозяевами пустоты являются **ташкентцы** и **митрофаны**. «Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 28). По убеждению митрофанов, «вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 15).

Пустым, невозделанным, нуждающимся в колонизации миром с самого начала выступает у Салтыкова срединная Россия, а нуждающимся в дисциплинарном нормировании индивидом – сам колонизатор.

Как и фукианская категория «колонизации», образ ташкентства служит метафорой описания

дел в метрополии: «Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. <...> Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 27). В поле анализа практик внутренней колонизации салтыковские образы приобретают двойственный смысл. Физическое насилие и ссылка, о которых так хлестко пишет сатирик, могут прочитываться и как дисциплинарные технологии, и как приметы недисциплинированного, «варварского» мира. Здесь сказывается та же амбивалентность неколонизованных колонизаторов, которую мы уже зафиксировали.

Парадоксальным образом просветительская сатира находит язык для описания неколонизованного царства в карнавальной эстетике с ее исполинским гедонизмом. Своеобразное воплощение карнавальной темы еды находит в образе «ташкентского» вагона, в котором все пассажиры с нетерпением ожидают утоления своего раблезианского голода, все разговоры в вагоне сводятся к баранине: «<...> там, я вам доложу, такая баранина...»; «А уж там-то, на месте-то какое житьё! баранина, я вам скажу...». Все объекты в беседе пассажиров переводятся в «застольный» план. О медицине: «Опять, сказывают, что у них даже простая баранина от недугов помогает!» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 46). О религии: «Только вот сказывают, что они по постам баранину лопают, – ну, это истребимо с трудом!» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 47). «Лакомствами» названы и ташкентские принцессы (Салтыков-Щедрин Т. 10: 47). Разумеется, этот колонизаторский «симпозион» имеет инвертированную форму: своеобразный «пир» в «ташкентском» вагоне носит характер умозрительный (пассажиры насыщаются «призраками», если воспользоваться метафорикой самого Салтыкова, см. [Николаев 1988: 25–35]) и исчерпывается одним блюдом – бараниной. Пиршественные образы здесь вообще лишаются какой-либо плотности – в полном соответствии с характерной для щедринской сатиры художественной логикой исчезающего тела. Перед нами оголодавший, обезумевший карнавал, карнавализация выступает шифром отрицательного, негативного объекта (объекта сатирического отрицания).

Русские «цивилизаторы» едут покорять Восток, на деле одержимые всепоглощающим желанием – «жрать». Оппозиция «Запад – Восток» Салтыковым рассмотрена как синонимичная оппозиции «центр – провинция» (или «Петербург – Россия»). В геополитической/геокультурной концепции Щедрина бюрократическая Россия непроницаема – глуха как к нуждам Востока, так и к

опыту Запада; тема ложного «европеизма» также затрагивается в цикле, например, в уже цитированных словах о неисполненном призыве Петра Великого. Политика России в Азии глубоко обусловлена коренными особенностями отечественных внутриполитических паттернов, главным образом преступным отношением центра к провинции, и прикрыта гегемонистскими идеологемами – «мифом» о цивилизующей миссии России, который рассказчик воспринимает из учебника по статистике и профессорских лекций. Вообще говоря, демифологизация русской культуры – константа салтыковской сатиры [Кондаков 1993].

С образом ташкентского вагона перекликается рассказ «Привет» (цикл «Благонамеренные речи»). Пассажиры поезда, возвращаясь из Европы на Родину, обсуждают преимущества России перед Западом, как то: цыпленок, поросенок, дичь, рыбные блюда – «У нас уху-то подадут – а?! Со стерлядью да с налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да расстегаи к ней...»; «Сравните теперь нашего цыпленка с ихним пуле!» (Салтыков-Щедрин Т. 11: 480); «Тётерева-то, коли в кастрюльке да на чухонском масле зажарить, – спешит Павел Матвейч переменить разговор, – да поджарить... да чтобы он в кастрюльке-то хорошенько вздохнул... ведь это – что ж!» (Салтыков-Щедрин: 11/481) и т. п. Среди «преимуществ», выходящих за рамки гастрономических перечислений, особое место занимает русская свобода: «У нас, коли ты сидишь смиренно, да ничего не делаешь, так никто тебя не тронет – Христос с тобой, хоть два века смиренно сиди!» (Салтыков-Щедрин Т. 11: 483).

Эти «утробные» интересы иронически расцениваются автором как признаки русской «культурности»: «Спутники мои... были, очевидно, истыми представителями и ревнителями интересов русской культурности, из числа тех, которые помнили времена, когда еще существовали культурные люди, “не позволявшие себе на ногу наступить”. Теперь, когда наступание на ноги, за всесловным его распространением, приобрело уже до такой степени обычный характер, что никого не заставляет даже краснеть, домашнее дело этих господ, то есть защита интересов культурности, до такой степени упростилось, что они увидели перед собою пропасть праздного времени, которое и решились наполнить бесцельным шатанием...» (Салтыков-Щедрин Т. 11: 476).

Сопоставление рассказов «Привет» и «Ташкентцы-цивилизаторы» позволяет выявить связь между сатирическими концептами «цивизованности» и «цивилизаторства». Интерес цивилизатора сосредоточен в области неумеренных материальных (грубо-материальных) потребностей, он воспринимает окружающую его цивили-

зационную реальность посредством «утробы», гедонистических импульсов. Главный секрет русской «культурности», по Салтыкову, в том, что она представляет собой **реликты власти-господства**, она и есть неколонизованная бездна. Деконструируя русский имперский миф, Салтыков занимается колонизацией «культурных людей», немодернизированного класса землевладельцев и тесно с ним связанной бюрократии. Салтыковские отсылки к Петру неслучайны: сатирик инструментализует литературу как средство продолжения дела Петрова – колонизации элит (о петровских усилиях в этом направлении см.: [Эткинд 2018: 145–159]).

Анатомия «примитивного» господства, ставшего объектом насмешки в эпоху блестящих империй, и разворачивается в книге «Господа ташкентцы», в которой Ташкент так и остается метафорой/метонимией внутренней колонизации как таковой.

Специального рассмотрения требует, на наш взгляд, четвертый рассказ из раздела «Ташкентцы приготовительного класса», посвященного воспитанию «государственных младенцев». Мальчик Порфиша Велентьев погружается в мир монетарного романтизма, предаваясь мечтам, в которых он находит волшебные клады и заполучает неразменный червонец. «Постоянно живя в обществе призраков, он сделался рассеян, впал в полудремотное состояние» (Салтыков-Щедрин Т. 10: 261). Сказочные видения в сознании Порфиши возникают после знакомства с родственниками Амалатом и Азаматом Тамерланцевыми, образы которых обрамлены рядом традиционных смеховых мотивов (двойничество, карточная игра и плутовство). Тамерланцевы заронили в сознание мальчика идею «созидания из ничего». Здесь Восток – неколонизованный, что вновь маркировано карнавальным топики – деколонизирует, карнавализует русского недоросля.

В этом рассказе Салтыков поднимает тему экспансии пустоты, дикости, «Востока», Орды – под покровом концессионного капитализма, процветающего в пореформенной России. Приходящий на смену земельной собственности финансовый капитал выступает как реванш хаоса в эпоху буржуазной рациональности. Дело Петра (модернизационная миссия) находит свое последнее пристанище в литературе.

Выступая со столь резкой критикой русского империализма, Салтыков на деле остается имперским просвещенным бюрократом. Он переакцентирует конфликт между дисциплиной и господством на сцене интеллектуального сопротивления режиму премодерна, что позволяет писателю оставаться в поле модерна (большого Просвещения). Вероятно, самосознание русского сатирика еще с Кантемира было захвачено конфликтом Петер-

бургского царства со старыми системами власти, здесь сатира подает себя как сила сопротивления, хотя работает она при этом как дисциплинирующей, нормирующей ментальное пространство дискурс. Разумеется, сатира не всегда участвовала в колонизации социума, она могла играть на точках сопротивления, однако в этом случае, как правило, утрачивала свой просветительский характер, т. е. переставала утверждать дисциплинарные нормы и обличать самовластье — систему восходящей индивидуализации. Сатира могла отступить в царство балаганной вольности, в абсурд, даже в хоррор – и из этих окопов совершать набеги на порядки и нравы колонизованного социума.

Список источников

Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: в 20 т. / гл. ред. С.А. Макашин; Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский дом) АН СССР. М.: Худ. лит-ра, 1970. Т. 10. 840 с. 1971. Т. 11. 656 с.

Список литературы

Кирпотин В.Я. М.Е. Салтыков-Щедрин: литературно-критический очерк. М.: Советский писатель, 1939. 288 с.

Клигер И. Дисциплинарное государство и горизонты социальности: «Обыкновенная история» и поэтика европейского реализма // Русский реализм XIX века: общество, знание, повествование / под ред. М. Вайсман, А. Вдовина, И. Клигера, К. Осповата. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 152–180.

Кондаков Б.В. «Демифологизация» русской культуры в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина // Типология литературного процесса и творческая индивидуальность писателя / гл. ред. С.Я. Фрадкина; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1993. С. 13–22.

Николаев Д.П. Смех Щедрина: очерки сатирической поэтики. М.: Советский писатель, 1988. 400 с.

Ольминский М.С. Щедринский словарь / под ред. М.М. Эссен, П.Н. Лепешинского. М.: Худ. лит-ра, 1937. – 759 с.

Фуко М. Психиатрическая власть: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973–1974 учебном году / пер. с фр. А.В. Шестакова. СПб.: Наука, 2007. 450 с.

Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 2016. 416 с.

Шафранская Э.Ф. Ташкентский текст в русской культуре. М.: Art House media, 2010. 301 с.

Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 448 с.

Miller D.A. The Novel and the Police. Berkeley; Los Angeles; London: University of California press, 1988. XV, 222 p.

**RUSSIAN IMPERIAL SATIRE: COLONIAL POETICS IN THE WORKS
OF M.E. SALTYKOV-SHCHEDRIN**

Ilia Yu. Rogotnev

Associate Professor, Russian Literature Department

Perm State University

The article analyzes the functions of satirical literature on the example of the works of M.E. Saltykov-Shchedrin. The main attention is paid to the analysis of the book “Gentlemen of Tashkent”. The methodology of analyzing power/authority relationships proposed in the works of Michel Foucault is used. The period of the formation of the disciplinary power regime is characterized by attributing satirical discourse a regulating mission. Addressing the topic of colonization of Central Asia, Saltykov – a writer and an official – considers the enlighteners/colonizers to be the true object of satirical colonization. In Saltykov’s poetics, Russian “civility” and “culture” represent a relic of power-domination subject to disciplinary transformations. Criticizing Russian imperialism, the satirist remains an Imperial bureaucrat who implements through literary satire Peter the Great’s mission to modernize the elites of the Russian Empire.

Keywords: satire; authority; Empire; civilization; carnivalization.